

В этом номере публикуется подборка рассказов писателей Южно-Африканской Республики, переведенных с английского языка Валентином Коткиным.

ГЛОТОК ВИНА В КОРИДОРЕ

АЛАН ПАТОН

В 1960 году Южно-Африканский Союз праздновал свое пятидесятилетие. Большой сенсацией для всей страны оказался такой факт: на конкурсе скульптуры первая премия в тысячу фунтов досталась чернокожему Эдварду Симелейну. Его «Африканская мать с ребенком» не только вызвала восхищение своим совершенством — она тронула души и сердца даже белых. Эдвард Симелейн стал известен за рубежом.

На конкурс работа негра была принята явно по недосмотру, потому что правительство и на сей раз придерживалось политики строгой сегрегации по отношению ко всем участникам празднеств и конкурсов.

Членам комиссии, присуждавшей премии по скульптуре, было выражено порицание в частном порядке за то, что они проявили беспечность и пренебрегли пунктом «только для белых», записанным в условиях конкурса, но официально было сказано, что, если уж работа Симелейна «бесспорно лучшая», пусть он получает премию. После этого комиссия решила, что премия ему должна быть выдана во время торжественной церемонии при закрытии празднеств, когда будут вручаться все другие награды. Это решение получило поддержку на удивление многих белых, но в определенных кругах вызвало протест в связи с отходом от «традиционной» политики государства и опасение, что некоторые белые лауреаты откажутся от своих призов.

Однако в конце концов все сошло благополучно, потому что скульптор, «к сожалению, не смог присутствовать на торжественной церемонии».

— Я не осмелился это сделать, — сказал мне Симелейн с сарказмом. — Мои родители, родственники моей жены и наш священник решили, что я не осмелюсь это сделать, и в конце концов я с ними согласился. Конечно, моим друзьям хо-

телось бы, чтоб я пошел и получил свою премию публично, но я сказал: «Ребята, я скульптор, а не демонстрант».

— Коньяк чудесный, — продолжал он, — особенно когда пьешь из этих больших бокалов. Первый раз в жизни у меня появились такие бокалы и впервые я пью так неторопливо. В Орландо, помнишь, мы изобрели свой способ пить — ты еще называл его «железной глоткой». Мы пили, запрокинув голову, залпом, то и дело оглядываясь по сторонам — как бы не нагрянула полиция. А вообще-то я пью коньяк всего второй раз. Хочешь, расскажу, как было в первый?

* * *

Ты знаешь книжный магазин Алабастера на улице Ван Брандис? Так вот, когда «Африканской матери с ребенком» была присуждена первая премия, у меня попросили разрешения выставить скульптуру в этом магазине. Для нее отвели целую витрину, задрапированную белым бархатом. При этом мне наговорили кучу всяких комплиментов. Я согласился, скульптуру выставили, но мне почему-то все никак не удавалось на нее посмотреть. По пути от станции к конторе Геральда, где я служил, я иногда проезжал мимо этого магазина, и мне всегда было приятно видеть, что возле витрины толпятся люди, но сам я видел ее лишь издали. Как-то я зашел в контору допоздна, и, когда кончил дела, улицы уже были пусты. «Пойду-ка посмотрю на свою скульптуру, — подумал я. — Могу же я доставить себе такое удовольствие». Но едва я подошел к витрине, рядом со мной вдруг появился какой-то белый молодой человек.

— Что ты думаешь об этом, приятель? — спросил он.

Не часто и не от каждого можно услышать слово «приятель».

— Я просто смотрю, — ответил я.

— Я живу поблизости, — сказал он, — и прихожу сюда почти каждый вечер посмотреть на эту скульптуру. Ты знаешь, ее сделал один из ваших. Его зовут Эдвард Симелейн.

— Да, знаю.

— Прекрасная работа, — продолжал он. — Взгляни на лицо матери. Она любит своего ребенка, но она не только любит его. Смотри, как она его оберегает. Ты видишь? Как какой-нибудь страж. Она знает: жизнь у него будет нелегкая.

Мой новый знакомый склонил голову немного набок, рассматривая скульптуру так и эдак.

— Этот парень получил за нее тысячу фунтов, — продолжал он. — Деньги немалые для вашего брата, но дай ему бог удачи. У тебя-то много ли бывает удачи?

— Знаешь что, друг, хочешь немножко выпить? — вдруг неожиданно предложил он.

Честно говоря, я не испытывал большого желания пить так поздно со случайным знакомым — с белым, да и боялся к тому же опоздать на поезд до Орlando.

— Мы, черные, не имеем права задерживаться в городе позже одиннадцати, — сказал я.

— Да это не займет у нас много времени. Мой дом как раз за углом, — сказал он. — Ты говоришь на африкаанс?

— С самого детства, — ответил я.

— Ну и хорошо, будем говорить на африкаанс. Я не очень силен в английском. Меня зовут Ван Ренсберг, а тебя?

Не мог же я назвать свое настоящее имя!

— Вакализа, — ответил я. — Живу в Орlando. Он направился по пустынной улице. Я последовал за ним — впрочем, без особой охоты.

Так мы и шли — он впереди, я чуть сзади. Он, казалось, не волновался, не оглядывался по сторонам, чтобы посмотреть, не следит ли кто за нами.

— Знаешь ли, чем я хотел заниматься? — спросил он.

— Нет.

— Мне хотелось иметь свой книжный магазин, как тот, где выставлена скульптура. Я всегда мечтал об этом с тех пор, как помню себя. Но мне не повезло в жизни. Мои родители умерли раньше, чем мне удалось окончить школу. Ты-то получил образование? — вдруг обратился он ко мне.

— Да, — ответил я с неохотой.

— И солидное? — спросил он как само собой разумеющееся.

— Солидное, — ответил я опять нехотя.

— Может быть, и степень имеешь? — Он решил выяснить все до конца.

— Да.

— По литературе?

— Да.

Он глубоко вздохнул: «Ооо!...».

Тут мы уже подошли к его дому. Майорка-Мэншнс — далеко не самое феешенебельное место. Я с удовлетворением увидел, что в весгибюле не было ни души. И все-таки мне было не по себе.

На дверце лифта красовалась табличка: «Только для белых». Ван Ренсберг открыл дверцу и сделал мне знак рукой. Было ли ему тоже неловко? Я до сих пор этого так и не понял. Мы

вошли в лифт, и, пока я ждал, когда же мы наконец поднимемся, он стоял, положив палец на кнопку и глядел на меня с какой-то искренней и бескорыстной завистью.

— Счастливчик! — сказал он. — Литература — это то, о чем я всю жизнь мечтал. — Он потряхнул головой, нажал кнопку и больше не произнес ни слова, пока лифт не поднял нас на верхний этаж. Но прежде чем открыть дверцу, он вдруг сказал:

— Если бы у меня был свой магазин, я бы тоже отдал тому парню витрину.

Мы вышли из лифта и направились по гладкому кафельному полу длинного широкого коридора. Он был как веранда: одна стена, стеклянная, глядела прямо в небо, полное света и воздуха. Улица Ван Брандис лежала далеко внизу. В другой стене были двери, немые безликие двери. Слышались звуки радио, голоса людей, но коридор был пустынен. Я бы не хотел жить так высоко. Мы, африканцы, любим держаться поближе к земле. Ван Ренсберг остановился возле одной из дверей и сказал: «Я сейчас, одну минуту». Затем он вошел внутрь, оставив дверь открытой, и до меня донеслись голоса. Я подумал: «Наверное, объясняет, кого с собой привел».

Через несколько минут он появился снова, неся в руках два стакана красного вина. Он улыбался, и взгляд его был сердечным.

— Извини, пожалуйста, бренди не нашлось. Только вино. Выпьем за счастье!

Я никак не ожидал, что мне придется пить в коридоре. Представляешь мое самочувствие!.. «В любой момент одна из этих безликих дверей может открыться, — думал я, — и меня увидят в «белом» доме, увидят, как я и Ван Ренсберг нарушаем закон о потреблении спиртного».

Тем не менее я не сердился на этого человека. Единственное, что я хотел, — это как можно скорее уйти отсюда. Но я не мог. Моя мать обычно предостерегала меня, когда я начинал ругать белых: «Сын мой, не нужно так говорить. Говори о них так же, как о себе». Она бы сразу поняла, почему я взял стакан вина от белого человека в коридоре. Ван Ренсберг спросил:

— Ты не знаешь этого Симелейна?

— Я слышал о нем, — ответил я.

— Мне бы хотелось встретиться с ним, поговорить, — сказал он и добавил как бы поясняя: — Высказать ему свое восхищение.

Из задней комнаты вышла женщина лет пятидесяти, неся блюдо с печеньем. Она улыбнулась и поклонилась мне. Я взял одно печенье, но ни за какие деньги в мире не смог бы я вымолвить: «Спасибо, уважаемая», — или это омерзительное: «Благодарю вас, миссис». Я не мог ей ничего сказать по-английски, так как говорила она только на африкаанс. Я набрался смелости и выбрал слово «хозяйка». Оно звучит так неприятно для уха белого человека, что за него нашего брата одним ударом сбивают с ног.

— Спасибо, хозяйка, — сказал я, улыбаясь в ответ и поклонившись. Никто не сбил меня с ног. Женщина снова улыбнулась и поклонилась, а Ван Ренсберг вдруг сказал каким-то странным голосом, звучащим, как натянутая струна:

— Наша страна прекрасна, но она разрывает мне сердце.

Женщина положила руку на его плечо и приговаривала:

— Джанни, Джанни...

Затем еще одна женщина и мужчина примерно одного возраста вышли к нам и встали сзади Ван Ренсберга.

— Познакомьтесь, это бакалавр, — сказал Ренсберг, указывая на меня. — Что вы на это скажете?

Первая женщина улыбнулась и снова поклонилась мне, а Ренсберг сказал таким тоном, как будто случилось непоправимое горе:

— Я хотел угостить его бренди, а у нас только вино.

Вторая женщина сказала:

— Я вспомнила, Джанни. Пойдем. — Она направилась в комнаты, он последовал за ней.

Первая женщина сказала:

— Джанни — очень хороший человек, странный, но хороший.

А я стоял и думал, что все происходящее здесь — чистое сумасшествие, никак не укладывавшееся в моей голове: меня, случайно встретившегося чернокожего, угощали как дорогого гостя, и незнакомые мне белые люди стояли в коридоре и смотрели на меня так, будто хотели сделать мне хоть что-то приятное, но не знали что. Я видел доброе отношение ко мне пожилой женщины. И я ответил ей:

— Да, хозяйка, я это и сам вижу.

— Представляешь, он ходит каждый вечер смотреть на эту скульптуру, — сказала женщина. — И говорит, что только бог мог сделать такое чудо, но для этого ему нужно было превратиться в человека. И он мечтает встретиться с этим человеком, чтобы рассказать ему о своем восхищении.

Она взглянула на дверь и спросила, понизив голос:

— Тебе не кажется, что это потому, что вылеплена черная женщина и черный ребенок?

— Да, согласен, хозяйка, — сказал я. Она повернулась к мужчине и проговорила, указывая на меня:

— Он хороший парень.

Но тут вернулись вторая женщина и Ван Ренсберг с бутылкой бренди. Он улыбался и выглядел очень довольным.

— Это не простое бренди, а французское, — обратился он ко мне и показал бутылку.

И я, испытывая страстное желание послать к черту весь этот дом, взглянул на нее и увидел, что это был коньяк.

Он повернулся к мужчине и сказал:

— Дядя, помнишь, это еще осталось с того времени, когда ты был болен. Доктор посоветовал тебе выпить немножко хорошего бренди, а в магазине заверили, что это лучшее бренди в мире.

— Мне пора идти, я должен успеть на поезд, — сказал я.

— Я отвезу тебя до станции, не волнуйся, — сказал Ван Ренсберг. Он налил мне и себе и спросил, обращаясь к дяде: — А ты выпьешь?

— Не возражаю, — ответил старик и пошел в комнату за стаканом.

— За счастье! — сказал Ван Ренсберг и поднес свой стакан к моему.

Коньяк действительно был хорош, лучшего представить себе невозможно. Но, господа, до чего же мне хотелось поскорее вырваться из этого дома! А я все стоял в коридоре и пил коньяк Ван Ренсберга.

Потом и дядя пришел. Ван Ренсберг налил ему, и дядя поднял свой стакан, чтобы чокнуться

со мной. Все мы были полны добрых чувств, а я все ждал: не откроется ли сейчас одна из этих безликих дверей. Возможно, и они этого ждали, кто их знает? А может быть, когда хочется сделать что-либо приятное человеку, об этом и не думаешь.

— Мне нужно идти, — сказал я.

— Я довезу тебя до станции, — сказал Ван Ренсберг.

— Спокойной ночи, сынок, — сказал старик.

— Да хранит тебя бог, — сказала первая женщина.

Вторая женщина улыбнулась и кивнула мне.

Потом мы с Ван Ренсбергом спустились на лифте вниз и сели в его машину.

— Я обещал подбросить тебя до станции. Я мог бы довезти тебя до самого дома, но побавляюсь ехать в Орландо ночью.

Мы тронулись, и он спросил:

— Ты понимаешь, что я имел в виду?

Я знал, что он ожидал от меня ответа, и хотел бы ему ответить, но не мог, потому что не знал, что он действительно имел в виду. Ведь не хотел же он сказать только о том, что боится ехать в Орландо ночью? Тогда что же еще кроме этого?

— А что именно? — спросил я.

— Понимаешь ли, — сказал он задумчиво, — ведь наша страна прекрасна.

Да, теперь я понял, что он имел в виду. И я знал также, что он всеми силами старался сделать мне приятное, но не мог, потому что уже много лет блуждал в темноте, как слепой, и я думал, какая это жалость, потому что, если люди никогда не могут сделать друг другу хорошее, они в один прекрасный день легко причинят друг другу боль.

Ведь черные уже больше не в состоянии по-доброму относиться к белым. Лишь иногда им случайно удастся растрогать их, создав нечто подобное «Матери с ребенком».

— О чем ты думаешь? — спросил Ван Ренсберг.

— О многом, — ответил я.

И моя замкнутость мне самому была неприятна, ибо я знал, что он ожидал от меня совершенно другого ответа. Я увидел, как он вдруг отпрянул от меня, злой, оскорбленный, разочарованный, но какие именно чувства его терзали — в эту минуту я не знал.

Он остановил машину у главного входа на станцию, а мне не хотелось говорить ему, что этот вход не для меня. Я вышел из машины.

— Спасибо вам за дружеский прием, — сказал я.

— Им всем понравилось, что ты пришел, — сказал он. — Ты заметил?

— Да, заметил, — сказал я.

Он сидел в машине согнувшись, будто на плечи его давила тяжесть какого-то непонятного, неразрешимого горя.

Мне захотелось его как-то утешить, но я думал, как бы не пропустить поезд.

Он пожелал мне доброй ночи, я ответил ему тем же. Мы помахали друг другу рукой. О чем он думал — бог весть. И мне казалось, что он похож на бегуна, который собрался пробежать дистанцию в железных ботинках, и никак не может понять, почему ему трудно сдвинуться с места.

Когда я вернулся домой и рассказал обо всем этом жене, она заплакала.